

ВСТРЕЧИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

М. Г. САВИНА

МЕМОАРЫ



ПЕРВЫЙ «настоящий» литератор, с которым я познакомилась в Петербурге, был Яков Петрович Полонский. Случилось это на одном из благотворительных вечеров в первый сезон моего поступления на сцену. Полонские были моими соседями. Я была приглашена на литературные пятницы и очень радовалась, так как знала, что увижу там много интересного. Меня поработил своим великодушием Григорович. Красавец, изящный, а уж говорил! Он в свою очередь заинтересовался мной (хотя не видел на сцене), прочел мне целую лекцию об искусстве и совершенно гипнотизировал меня. С большим нетерпением ждала я пятницы, чтобы опять увидеть, а главное — услышать его. Потом, когда я постепенно вышла из роли провинциалки, в Григоровиче мне показалось странное пристрастие к французским псевдоклассическим пьесам и полное незнакомство с нашим репертуаром. Поразило он меня также своим мнением о русских авторах. «Синоним русской пьесы: лапти и покойники», — это говорил автор «Рыбаков» и «Антонаторемы». Тем не менее он был обаятелен в обществе, говорил красиво, знал это и любил, чтобы его слушали.

Яков Петрович был все, что угодно, но не поэт. По крайней мере, для меня. В моем воображении поэт представлялся совсем другим. Разве феноменальной рассеянностью своею он напоминал поэта, но ничем больше. В заседаниях комитета он добродушно засыпал под чтение автора, что, конечно, приводило в отчаяние последнего. Иногда при громкой фразе или вдруг наступившем молчании Яков Петрович открывал глаза и спрашивал: «Это кто говорит?» Автор называл имя героя. «А это он кому говорит?» и т. д. Волосы его всегда были растрепаны, точно он только что стоял на ветру. Поэтому он, должно быть, и удивлялся, что И. С. Тургенев любил подолгу расчесываться каждое утро. Вообще он мне казался каким-то не от мира сего, но пятницы я посещала охотно, когда была свободна.

С НЕКРАСОВЫМ познакомилась незадолго до его смертельной болезни; он пугал меня своим видом. Но кого я действительно перепугалась при встрече, это А. Ф. Писемского. Мой дядя, живший постоянно в Петербурге, сказал мне как-то, что Писемский, старый его знакомый, узнав о нашем родстве, желает прочесть мне свою новую пьесу, и я, конечно, поспешила к назначенному времени. Часы ли у меня были неверны или ехала я очень долго, но я опоздала и была очень сконфужена, когда Писемский сразу мне это заметил. Голос у него был очень грубый, глаза навывкате, редкие волосы торчали во все стороны и при этом костромская речь, неслышанная мной до этих пор, совсем ошеломила меня.

— Кто ж так опаздывает? Вот она какая у вас! Молода больно, стрекозиста.

Уселась я слушать ни жива ни мертва и долго не могла поднять глаз на этого страшного старика. Пьеса называлась «Просвещенное время» и мне не понравилась, а роль героини по случаю моей «стрекозистости» совсем не подходила ко мне, но, чтобы не обидеть автора, я предложила сыграть роль горничной. Писемский сначала спорил, потом рассердился и сказал, что поставит пьесу в Москве, а не здесь. «С такими дурами», —

так и хотелось подсказать мне ему. Тогда существовала система бенефисов, и в каждом из них я должна была участвовать. Писемский, очевидно, знал это и привез свою пьесу в надежде немедленно пристроить, но я невольно ударила его по карману, что и вызвало его негодование.

В 1876 ГОДУ, сыграв до этого в пьесах «Волки и овцы» и «Богатые невесты», я встретила с А. Н. Островским. Последняя не имела успеха. Бурдин* объявил нам, что Александр Николаевич дал ему свою новую пьесу — «Правда хорошо, а счастье лучше» для бенефиса и сам придет читать. Чтение состоялось по всеобщему удовольствию, так как Островский читал превосходно, но для меня с Варламовым все окончилось большой неприятностью. Мы оба решили, что не сумеем сыграть поднесенные нам роли (так поразили нас чтением автор), и пошли к грозному и всемогущему Павлу Степановичу Федорову, тогдашнему начальнику репертуара, вершителю судеб театра, с просьбой освободить нас от участия в этой пьесе. Я служила тогда два года, а Варламов** — один, и при нашей молодости такая скромность была только похвальна.

Но, боже мой, как поощрил эту скромность наш начальник! Не дав нам договорить, он закричал, затопал ногами, очки совсем сползли (он глядел всегда сверх них), и мы могли только разобзаться: «Островский делает вам честь, а вы смеете капризничать!». «Девчонки, мальчишки разговаривают...» «Бенефис товарища, императорский театр...» и все в этом роде. Мы часто вспоминаем и теперь с Варламовым, как опрометью выбежали из приемной и буквально слетели с четвертого этажа дома дирекции и пришли в себя только у входа в Александринский театр. Варламов плюнул, а я перекрестилась, что избавилась от этого ужаса. Мне почему-то вообразилось, что Поликину должна играть Лиза Левкеева***, специалистка на роли купеческих дочек, и это толкнуло меня на отказ. Варламов плакал оттого, что бесподобный тон Островского не выйдет из памяти и ничего подобного он не сумеет передать. Как мы играли и играем до сих пор эти роли, говорить нечего, а у Варламова это одно из его созданий. Теперь молодые отказываются потому, что «роль не нравится», а не потому, что они не считают себя способными выполнить ее.

Островский не смотрел своих пьес, а ходил во время первого представления за кулисами, чутко прислушиваясь к речам на сцене, и иногда садился в режиссерскую ложу. Как-то в разговоре он сказал: «Я не хожу в театр на чужие пьесы, боюсь что-нибудь скверное перейму». Со мною он был чрезвычайно ласков и в письмах всегда отзывался с большой похвалой. Как хороша женщина во всех его пьесах! Как даже ее дурные поступки он объясняет средой, воспитанием, обстоятельствами.

ПЕРВЫМ ДРАМАТУРГОМ, пьесу которого я поставила в свой первый бенефис на сцене 8 октября 1874 года, был А. А. Потехин. Роль Дашеньки в «Мишуре» мне очень нравилась, и я только что сыграла ее с большим успехом в Саратове. Автор был в театре и после 3-го акта вбе-

* Ф. А. Бурдин, артист Александринского театра.

** К. А. Варламов, выдающийся русский артист.

*** Е. М. Левкеева, артистка Александринского театра.

БРИЛЛИАНТОВЫМ ДАРОВАНИЕМ, чародейкой русской сцены называли современники великую драматическую артистку Марию Гавриловну Савину. В Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде сохранились ее рукописные воспоминания, которые «Неделя» публикует в сокращенном виде.

чтобы «очаровать» моего гостя, настроенного уже, по-видимому, приятелем в мою пользу. Разговор вертелся сначала на Чацком, только что сыгранном Монаховым, что тогдашней критике показалось большой дерзостью со стороны «кунлетиста». Иван Александрович возмущался этим и горячо брал его под свою защиту. От всей некружной фигуры Гончарова веяло порядочностью и приветливостью; это был «старинный» милый барин с тихой приятной речью. Иван Александрович был несколько раз в театре, видел меня в разных ролях («Правда хорошо» в том числе), и на другой день после спектакля Монахов подробно описывал мне его впечатление, всегда лестное для меня.

Конечно, я была у него с визитом, на Моховой в доме Устинова, где он жил 30 лет и умер там. В глубине большой комнаты, на диване полулежал Иван Александрович и около него сидела маленькая белокурая девочка с книжкой. Эта картина меня поразила. Когда я вошла, он так был занят, что в первую минуту не заметил меня. Девочка убежала, и Иван Александрович объяснил мне, что это дочь его кухарки и он учит ее грамоте. Вспоминая об этом потом, он говорил: «Когда я смотрю в ясные глаза Сонечки, я вижу небо». Тихо, тихо было в его квартире, и я своей шумной особой внесла в нее большой беспорядок. Вытащить его из дому, а в театр тем более, было большим подвигом, но тем не менее Монахову это удавалось, и я была безмерно счастлива видеть Гончарова у себя. Между прочим, он учил меня читать стихи. Но так читать на сцене было бы немислимо. Покачиваясь из стороны в сторону, чинно он отбивал рифмы и говорил, что это необходимо. «На то и стихи, чтобы их слышать». Он прочел «Сцену у фонтана», Марину, а Монахов подавал реплики самозванца.

Несмотря на мое благоговение, я не могла удержаться от улыбки. Все, что я знала наизусть из стихотворений, я должна была читать по его просьбе, а некоторые, как сцену из «Евгения Онегина» или «Горе от ума», вместе с Монаховым. Монахов очень хорошо читал стихи, и я была между двумя огнями в этих случаях. Очевидно, такие вечера нравились Ивану Александровичу, потому что он никогда не отказывался от моих приглашений.

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АВЕРКИЕВ, образованный, умный, любивший сцену и знавший ее, серьезный критик и талантливый драматург, к сожалению, обладал очень неуживчивым характером и многих этим отталкивал от себя. Один раз мне пришлось видеть его на сцене в благотворительном спектакле, который он же и устраивал. Давали «Каменного гостя» Пушкина, и он играл Лепорелло. Я помню ясно сцену у статуи. Он так смешно выражал испуг, выказал такое незнание сцены, такое отсутствие дарования, что я смеялась от души и не скрывала от него этого. «Бранить актеров легче (а он жестоко бранил), чем самому играть, Дмитрий Васильевич», — сказала я. Он, отирая пот, обильно струившийся по лицу, ответил, что робел до потери сознания.

В его пьесах я играла с большим удовольствием. Что касается знаменитой «Каширской старины», то в провинции я играла в ней вторую роль (Глаши). По-моему, эта пьеса — украшение русской драмы.

жал ко мне в уборную, в восторге целуя мою руку, сказал: «Теперь я опять буду писать для сцены». Высокий, худой, с длинными белокурыми волосами и бородой, «старинный» литератор с гравюрой сороковых годов, он мне очень понравился. Я познакомилась с его семьей и очень подружилась с его младшей дочерью Раечкой,



его любимицей. Это была чудная, добрая девушка, но глубоко несчастная благодаря любви отца. Он уверил ее (и сам был убежден), что она замечательный талант, и отравил ей жизнь. Ставил для нее спектакли в клубах, давая первые роли, и сзывал всех родных и знакомых восхищаться ее игрой. Он был слеп к ее недостаткам (она была некрасива, угловата, очень худа, не умела одеться на сцену и жестоко шепелявила), и все, боясь огорчить его и ее, поддерживали этот обман из симпатии к этой милой семье. Главным партнером Раечки в этих спектаклях был А. И. Южин (князь Сумбатов), тогда еще студент.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВА привез ко мне Монахов (ухаживавший тогда за мною), и я от восторга скакала по комнате, увидав автора «Обрыва». Я бредила «Верой, бабушкой, Марфинькой» и хотела играть всех трех. Иван Александрович изысканно учтиво поздравился со мною и сказал, что «давно просил своего приятеля Ипполита Ивановича и очень рад случаю» и т. д. Конечно, я сделала все на свете,